

Михаил Пселл

ПОХВАЛА ИТАЛИ

Слава Итали, а если хочешь, то Латину и Авзону! Правильно начал он, умело действовал и завершил искусно. Одного лишь не потерпел — отторжения от Бога, хотя бы на словах. С кротостью перенес он все, не впал в уныние от оскорблений и злословия снес мудро, но, когда его укорили в ереси, то рассвирипел и, став необычайно дерзким от такого удара, метнул в ответ обидчику речь вместо копья. Он принялся за дело, избрав форму, не соответствующую предмету, чтобы поразить и остаться неузнанным. Именно так поступали искуснейшие из риториков и превосходнейшие из философов. Первые ловко переходили в своей речи от низкого предмета к важному, а вторые таинственно прикрывали этим покровом то, что нельзя выразить словами. Так и Платон в «Тимее» прибегает к описаниям, да и все философы после него делали то же. Один, пообещав, как будто, говорить про сон, повел речь о воображении, другой, сделав надпись «О человеческой природе», составил рассуждение об одушевленности. С ними соревнуется и этот италиец, отдавая предпочтение, тому, чему не очень хотел бы отдавать: сначала он выставил целью своей речи опровержение и установил некоторые новые подходы к предмету, а затем как бы исподволь повернул речь туда, куда ему хотелось. На оскорбления он не стал отвечать оскорблениями, не стал повторять ругательств, которыми его осыпали, и новых не стал произносить. Своим дивным защитником от обвинения он выставил догмат. Его он изложил и в речи, словно в зеркале, явил лицо свое украшенным красотою веры.

Если человек красив, но прячет свою красоту и терпит насмешки, как будто он урод, то, чтобы прекратить их, ему бывает достаточно показать себя таким, как он есть. Так и Итал, раскрыв прикровенный облик своей души, показал его оскорбителям и, как принято, посвятил им часть своего опровержения, доказав собственным примером, что он сам — воплощение красоты. Он завел речь об эллинской мудрости и с сокрушением заговорил о том, что, хотя наследовать словесные богатства должны потомки, сокровище мудрости воспринято теми, кому оно не принадлежит по праву — варварами, иноземцами, а Эллада между тем, вместе с ионийскими поселенцами, отстранилась от отцовского наследия, и оно перешло к ассирийцам, мидянам, египтянам. Все настолько переменилось, что эллины ведут себя по-варварски, а варвары — по-эллински. Ныне, если случится эллину попасть в Сузы или Экбатаны, древнее владение Дария, то он услышит от вавилонян вещи, которых не слышал на собственном языке, и станет там восхищаться любым человеком, впервые, пожалуй, узнавая, что мудрость была устроительницей всего.

А если среди нас окажется кичливый варвар и вступит в разговор с жителями Эллады и всего нашего материка, то почти всякий раз собеседники его будут не только полуослы, но даже полные ослы. Большинство ведь понятия не имеет ни о природе, ни о том, что выше ее, некоторые же мнят, что постигли всецелое, а сами и пути к нему не знают. Одни из них величаются философами, но чаще всего сами еще ходят в учениках, другие восседают

с важными лицами, длиннородые, бледные, угрюмые, нахмуренные, неопрятно одетые. Они из глубин Аида выкапывают Аристотеля и прикидываются, будто понимают то, что он утаил, окутав мглой неясности. Его запутанную краткость нужно разъяснить в пространном слове, они же краткими предложениями только пустословят о множестве исследований. Варвар думает, что мы забавляемся, и наше невежество его делает надменным. Он расстается с нами, показав себя если и не мудрецом, то и не неучем.

Речь Латина в немногих словах показала, что он взялся за дело как мастер. Не следует удивляться тому, что не блещет он словесным искусством и речь его не ритмична, а сочетания не источают сладости. Ведь виды речей многообразны и редко у кого бывают собраны в них все достоинства. Случается, что один позаботился о ясности и чистоте, но не придавал речи великолепия, а другой достиг пышности, но пренебрег ясностью, у иного речь сияет естественным блеском, а иной любит больше искусственную красоту. Лисий хорош в своей простоте, а Исократ приукрашивается. Слишком напыщена речь у Фукидида, у Геродота же этого нет, и изящество его беспредельно. Поэтому пусть простится Итали, если он прекрасен не во всем: он мастер своего дела, но красота не дается ему.

Он небрежет о слушателе, его откровенная речь неприятна, ведь она приготовлена и составлена из предисловий, тогда как речь тщательно отточенная не бывает нестройной и сбивчивой. И речь его не льет уладу в душу, но заставляет размышлять и держать в уме сказанное, она убеждает не болтовней, не наслаждением (не уловляет она харитами), не пленяет красотой, не увлекает сладостью, но как бы насильно покоряет рассуждениями. Ее нельзя приравнять к чему-то одному: связью ей служат энтимемы, возвышают ее сплетения разных приемов и обращена она к самой себе. Пусть уделом совершенных риториков служат такие-то и такие-то черты, однако сам Гомер не описал Эакидов со строгой точностью; пусть какой-то вербовщик в войске не взял урота, потому что и красота сначала бывает в замысле, а потом в вещах, которым она присуща, мы все равно хвалим и ту красоту, которая бывает чему-то причастна, и то, чему она причастна. По-иному станем мы хвалить красоту и величие речи у Платона, по-иному у Ксенократа, а по-иному у сократика Эсхина. Переходя так от одного к другому, мы нередко приспособливаем речь к Скопелианам и Никитам и судим о ее достоинствах, сообразуясь с тем мастерством и с той силой, которую находим у каждого из них.

Пусть и Итали получит право быть своеобразным, пусть и он, и всякий другой ученик мой сохраняют, полагаю я, им одним присущие черты, Мне приятны придуманные вами новые слова. Ведь это я родил вас, и я, ваш праотец, не стану ненавидеть потомка, каким бы он ни был, даже если у него голова приплюснутая, рука согнутая, колено вывихнутое, радушно приму я поскользнувшегося и приложу к речи свое повивальное искусство, обмою и сразу «вылеплю», как сказали бы вы по-ученому.

Выкидыш я верну к жизни и обласкаю даже вывихнутое. Я не более жесток к своему детищу, чем та аттическая жена (забыл ее имя), о которой вот что рассказывают: когда она была беременна, отец, будто бы, не позволял ей стать матерью и хотел убить мла-

денца, едва тот появится на свет. К этому он тайно подговорил повивальную бабку. Но та по-иному исполнила волю отца. Она спрятала у себя на груди змею, и, когда после мук, родился младенец, то она унесла его прочь, а на его место положила змею и показала ее роженице со словами: «Увы! Посмотри, какое чудо: вместо ребенка родилась змея!» А роженица ей с нежностью на это: «Мамушка, приласкай ради меня змею, она мне все равно, что жизнь». И, взяв змею обеими руками, поцеловала ее. Я тоже аттик, я тоже чадолюбив, и даже больше, чем она, так как родил вас в муках души и люблю ваших словесных детей. Пусть они мужают, пусть руки их крепнут. А вы пока что рождайте для меня. Ведь ничто не может преуспеть, не родившись сначала.

Воспроизведено по изданию: Памятники византийской литературы IX-XIV вв./ Отв. ред.: Фрейберг Л.А. - М., 1969. - С.145-147. Перевод Т.А. Миллер; сделан по изданию: Michaelis Pselli Scripta Minora. V.1, ed. Ed. Kurtz. Milano, 1936. P. 50-53.